

18+

Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л



РОМАН №4 2025 ГАЗЕТА

Галина Калинкина / Внутри солнца





КАЛИНКИНА Галина Евгеньевна

Родилась и живет в Москве, окончила РГГУ, прозаик, критик, эссеист.

Организатор интервью с интересными людьми. Являлась членом жюри Международной премии им. Серафимовича «Перископ-Волга» в 2022–2023 годах (Волгоград) и Международной литературной премии ДИАС им. Д. Валеева в 2021–2022 годах (Татарстан/Тольятти).

Публикации в журналах «Вопросы литературы», «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов», «Юность», «Урал», «Этажи», «Новый Свет», «Север», «Сура», «СибОгни», «Textura», «Кольцо А», «Традиции и авангард», «Формаслов», «Интерпоэзия», ЛИТЕРАТУРА и в «Независимой Газете» (НГ-Exlibris).

Автор книг малой прозы: «Поверх крыш и флюгерных музык» и «Идти по прямой», а также двух романов «Лист лавровый в пищу не употребляется» (сага о старообрядцах) и «Голое поле» (о галлиполийцах).

Лауреат и шорт-листер международных литературных конкурсов им. Бунина, Катаева, Короленко, Анненского, «Русский Гофман», «Антоновка 40+», «Неистовый Виссарион» (Критика) и Волошинский сентябрь» (Критика). Лонг-листер конкурсов им. Ф. Искандера, П. Бажова, премии Ясная Поляна — 2023 за дебютный роман.



ЭНЕРГИЯ СЛОВА

О КНИГЕ АЛЕКСАНДРА ЕВСЮКОВА «ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ»

Из всех деятелей литературы, пожалуй, самая трудная судьба выпадает на долю критиков. Напишет похвальное слово известному писателю, его не преминут обвинить в комплиментарности. Отзовется нелестным образом о книге, получившей не одну премию, тотчас обвинят в зависти: «Сам не может, вот и критикует». Но вот в этом уж точно обвинить Александра Евсюкова — автора сборника критических статей «Принцип действия» — невозможно по той причине, что он сам писатель и уже давно получил признание на этом поприще.

Критические заметки Александр начал писать давно. По его собственному признанию, вкус к этому роду деятельности привил руководитель семинара в Литинституте Миха-



ил Петрович Лобанов. Неудивительно, что автор посвятил отдельную статью памяти наставника — «Возвращение к Мастеру»: «Помимо масштаба его собственной личности, личности безусловно важной для всей русской культуры, именно

благодаря ему мы всего через одно рукопожатие были знакомы с Леонидом Леоновым и с Михаилом Шолоховым, с Константином Воробьевым и Борисом Шергиным...»

После этого признания становится понятно, что чувство преемственности играет в работах Александра Евсюкова очень важную роль. Не то чтобы он оглядывался через плечо, нет, конечно. Но что Александр ощущает опору в полученном наследстве — это несомненно.

Читая, заново перелистывая сборник, по-настоящему осознаешь масштаб того, что успел сделать автор.

Уже оглавление в книге вызывает желание её прочесть. Вот, например, «Колесо обозрения»!.. Точный смысл подзаголовка переплетён с озорным предложением — обозреть сверху парки и сады российской словесности. Как тут не последовать за писателем,

* Эссе Л. Синецкой дается в сокращении.



Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л

РОМАН-ГАЗЕТА

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «РОМАН-ГАЗЕТА»

ЖУРНАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕЧАТИ. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ №013639 от 31 МАЯ 1995 г.

Учредитель и издатель
ООО «Роман-газета»

Главный редактор

Юрий Козлов

Редакционная

коллегия:

Дмитрий Белюкин

Алексей Варламов

Анатолий Заболоцкий

Владимир Личутин

Юрий Поляков

Ответственный

редактор

Елена Русакова

Права

на использование

товарного знака

«Роман-газета»

принадлежат

ООО «Роман-газета»

© ООО «Роман-газета», 2025

Все права защищены

Журнал зарегистрирован

в Министерстве связи

и массовых коммуникаций РФ.

Свидетельство о регистрации

ПИ № ФС77-68350

от 30.12.2016 г.

Подписаться

на журнал «Роман-газета»

можно в отделениях связи

и через Интернет:

roman-gazeta-1927@yandex.ru

Подписные

индексы издания:

в объединенном

каталоге

«Пресса России»

38915 на полугодие;

в электронном каталоге

«Почта России»

П1526 на полугодие

Точка зрения автора может

не совпадать с позицией

редакции

2025 №4 /1969/ Основана в 1927 г.

Галина Калинкина

Внутри солнца

ТИХИЙ ЧАС

1

Руки старика бегали по краю циновки, не находя покоя. Восковые пальцы прозрачной кожи с венозным скелетом кисти доходили до пупа и снова возвращались под кадык. Пальцы будто собирали рассыпанные на груди крошки, будто пытались застегнуть поломанную пуговицу сорочки, будто нащупывали саван и обирали тело. Старик загодя велел обернуть себя полотном в последний час. Ему не понадобится гроб. В гробу не улежишь, то ли дело саван — развернулся младенчиком...

Но пока пальцы узнавали лишь ветхую циновку, что когда-то служила половиком. Окликнуть Параскеву-Пятницу. Просить создать всех. Но ночь еще не истекла. Надо тянуть до утра.

Правая рука нащупала болнисский крест на шнурке и затихла на нем, левая накрыла правую и тоже затихла. Зазнобило. Ага, дрожь! Он еще не потерял себя. Казалось, зависший витражом в голом квадрате окна космос менял плотность цвета с каждым поднятием набрякших век. Скоро четыре утра — самый тихий час земных суток. Люди спят. Почему же тогда соседский мальчишка носится мимо окна с длинной веткой над головою?.. Почему родители не следят за ребенком в неурочное время? Почему его никто не урезонит?

Люди спят.

2

А теперь они сидели напротив друг друга: с одной стороны — осадок обиды, с другой — недоверие. За стенкой деланно гремели посудой; на самом деле сестры — старшая и младшая — прислушивались к звукам материной комнаты, ждали примирения. Высушены слезы встречи, схлынули переживания, счастье обретения сына уступило место упрекам, а радость возвращения — предубеждению. Васику пропа-

дал почти два года. Подросток, возмужал, отстранился — чужим стал. Ламара не сразу напала на след сбежавшего. И только со временем ночных испуганных молитв *куда-то к кому-то*, со временем раскаянья и покаянья ей стали приходить вести — *откуда-то*. Сына видели в монастырях Марткопи, Бетани, Самтавро. Она добиралась в святое место, но какая-то не подчинявшаяся ей сила уводила мальчика дальше, а погоню оставляла «с носом». Тогда мать сдалась, смирилась, вернулась к дочерям и стала ждать. Следующему принесшему весть о беглеце сказала: пусть возвращается, приму.

Мать и сестры не знали, как он пережил те два года. Беглого укрывали рядом с монастырем. Повсюду давали пури — хлеб, пока жил возле, и повсюду вкладывали в руки снедь на трое суток, когда уходил в путь. Власть приглядывала за монахами и пресекала беспризорность. Голод иногда изводил его. Ну, так и дома жили впроголодь. С тех пор, как отца в исподнем вытащили из постели в четвертом часу ночи и расстреляли на соседней улице, им ни одного дня не жилось счастливо. Чтобы заменить главного мужчину в семье, мальчик тогда был слишком мал. Но ему передали имя отца и назначили старшим. Он понял невозвратность событий того тихого часа — часа расстрела. Его жалели мать, старшая сестра, соседки: глупыш, еще не знает горя, от какого рыдают они. А он понимал, он знал горе, только всё больше молчал и муку свою перемалывал в одиночку.

Игры и слова его были такими странными, что поначалу мать пугалась своего ребенка-кроху. Он говорил, что его сердце старое — ему несколько сотен лет, а у них — матери и сестер — сердца новые, молодые. Мальчишке и пяти лет не набежало, а он, вместо проказ со сверстниками на мостовой, сидит в углу двора, возводя из булыжников высокие здания. Васику брал у младшенькой Джеммы ее тряпичную куклу и, сгибая в поклоне, опускал на колени в каменной башне. Когда Джемма отнимала свою единственную игрушку, он таскал у матери спички и разводил огонь под камнями. Старшая Ия отбирала спички. Мать разрушала башни, давала в руки работу. Васику делал работу и снова шел собирать булыжники для своих «храмов».

Нет, он не всегда был угрюм и задумчив. И его сердце знало веселье. Когда выпадало свободное от заботы время, Васику подбирал в саду сломанную ветку и, радостно размахивая ею, выбегал со двора, спускаясь с пригорка к колодцу на перекрестке. Тут уже удивлялись не только мать и сестры, не только соседи, но и любой встречный житель Сололаки. За веткой весельчака неслись птицы. Они слетались в разноперую стаю и будто бы тоже радовались забаве. Мальчишки с Хлебной площади подхватывали игру. Бежали с высокими палками, сучьями. Но

птицы к ним не слетались. Много раз пробовали. Не слетались.

Подрастая, Васику больше смотрел в пол, чем в стороны, изредка поднимал глаза к небу. Что он видел там, внизу? Сор и пыль. Мать выпрямляла его, а он снова сгибался. Мать терпела его игры с булыжниками, «птичьую» беготню, кормление голубей ворованным с обеда пури. Но мышь! Мышь она не могла простить сыну. Эта серо-бархатная бесовка повадилась воровать мамалыгу. Причем оставшийся от ужина, подсыхающий кусок лаваша мышь не трогала. Но на свежую мамалыгу заявлялась моментом. И чуть зазевался, отвлекся на распри двора, бесовка уже лапками в потеющей паром миске.

Мать охотилась на воровку. Устраивала ей западни со скипидаром, клеем, нашатырём, крысиным ядом — всё бесполезно. И тогда дядя Муха соорудил мышеловку. Первую ночь Ламара легла спать спокойной. Мамалыга сварена на завтра, надежно прикрыта доской из граба. Мышеловка поставлена рядом. Попадется, бесовка! Но утром женщина оторопела и рассвирепела одновременно — да, такое бывает. Увидев обломки мышеловки и плачущего над ними сына, Ламара минуту металась: сначала спросить, потом отлупить или сразу надавать шлепков негодяю. Сломать такую хорошую вещь! В оправдание Васику обещал поймать мышь к воскресенью; он попросит у дяди Мухи сделать клетку, но только без капкана. Ламара сдалась перед мольбой. И уже думала, чем отблагодарить за беспокойство соседа. Она снесет дяде Мухе свою особенную ачму. Её ачма славила на всю Хлебную площадь и даже, кажется, на весь Сололаки. Когда бархатистая, тепленькая бесовка попала в новую клетку, Васику, умильно улыбаясь, выпустил её. Тут Ламара не сдержалась, замахнулась передником на негодника, но сын, подняв от сора и пыли глаза, в которых уместилось небо, сказал: она сюда больше не заявится. И вправду, мышь больше не докучала. И мышь была мальчику прощена.

3

В их тесном дворе на Хлебной площади сходились окнами, балкончиками, а где и ступенями лестниц сразу четыре трёхэтажки. Здесь любая новость тотчас же становилась всеобщим достоянием. Здесь каждая история держалась на законах общезнания. Здесь всякая ссора разбиралась товарищеским судом, а всякая перебранка превращалась в театральное действо с прологом, выходом, антрактом. Эпилог зачастую наступал до антракта. Обычно зачин всему давала кривая Мака, впрочем, кривой она не была, а прозвище получила за странность походки: при быстрой ходьбе

заметно забирала вправо. Зычный голос Маки — как самой сварливой из соседок — обозначал призыв к общему сбору. И тогда каждый жаждающий зрелищ, раздвинув веревочный занавес — влажное в безветрии бельё, занимал места в зрительном зале: на ступенях, перилах балкончиков и подоконниках вечно распахнутых настёж окон.

В тот раз, как всегда, крик подняла Мака, ей оппонировала толстуха Нора. Тут же объявились благодарные слушатели. Спор зашел о сплетне, пущенной на базаре кем-то из жителей Хлебной площади и на него же третьего дня вернувшейся через соседа двоюродной сестры свояка жены дяди Мухи. Когда одна из товаров в запале вскрикнула «Ты распяла меня, как Христа», к взявшему на себя роль рефери дяде Мухе подошел Васи́ко и спросил, кто такой Христос и почему его распяли. Дядя в азарте судейства отмахнулся, но после отослал мальчишку к Мамуке-воину. Васи́ко знал Мамуку. Тот был *вечным солдатом* и который уже год состоял в церковных сторожах. Но когда мальчик подошел к храму, храм оказался заперт.

— Эй, бичо, чего подпираешь порог? — спустя полчаса прозвучал голос старика над мальчишкой, на короточках пересыпающим пыль из ладони в ладонь.

- Ты ведь сторож?
- Тебе чего?
- Ты знаешь Христа?
- Иии... Вай-вуй. Он меня знает. А тебе чего?
- Я тоже хочу с ним познакомиться.
- Ты сын убитого Васи́ко?
- Я теперь Васи́ко. Мне отдали его имя.
- Твой отец разрушал церкви. Он был коммунистом.
- Я тоже хочу, чтобы Христос узнал меня.
- Отец очень рассердился бы после таких твоих слов. Уходи.
- Я завтра снова приду. И послезавтра приду. Буду приходить, пока ты непустишь меня.
- Ты никогда не войдешь в храм.
- Христос пустил бы меня.

Старик задумался, потерев бил выцветшую гимнастёрку.

— Идем, сын Васи́ко.

Старичок-сторож отворил дверь храма, ловко сняв с петли чугунный затвор с замком. Зажег свечу и смело пошел в полумрак, не оглядываясь на ребенка. На верхотуре в провал окна вваливался синий вечерний свет, но наискось обрывался там же под куполом и не освещал пола, по которому продвигались двое со свечою. Когда сторож ушел, когда вернулся снова, когда почти догорела свеча, Васи́ко так и не заметил, только почувствовал тяжелую солдатскую пятерню на затылке. Пятерня разворачивала голову к выходу.

— Оглох, что ли, блаженный...

Васи́ко не смотрел на сор и пыль, он выпрямился и смотрел вперед, на запекшуюся струйку крови ниже колена распятого Бога. Он не заметил грохота чугунной щеколды за спиной, не помнил обратной дороги, не слышал обеспокоенного голоса матери, так и не дозавшейся его к ужину. В тот вечер он не произнёс ни слова. В ту ночь он не видел снов. Проснувшись, он осознал себя в другом дне обыкновенным мальчиком, братом двух сестер, сыном вдовы. Но почему-то уже с самого утра нового дня он знал, что когда-то его будут звать совсем по-другому, а люди, которых он опасается сейчас, станут искать губами его руку.

Он вернет имя отцу.

Теперь ночной сторож не раз впускал чудного мальчишку в церковь, когда народ спешно расходился с паперти. Службы нынче были короткими, пугливыми, со страхом быть застигнутыми органами власти. И тот же Мамука-воин помог мальчику скопить денег на подержанную Библию. Самым счастливым событием стал для Васи́ко поход со сторожем к букинисту на Вокзальную площадь. Сколько минут Васи́ко смог просидеть за чтением, столько минут он прожил за день. Остальное время не шло в счет его жизни. Он теперь *свое время* берег для Книги Книг. Он помогал матери, выполнял все ее просьбы, был трудолюбив, заботлив и прилежен, но он жадно ждал *свое время*, когда снова сможет коснуться тех страниц. Ламара, заметив его пристрастие, нарочно выдумывала бесконечные требы, но в конце концов сдавалась перед усердием и кротостью.

Так шел отсчет времени жизни названного Васи́ко.

Однажды кривая Мака и толстуха Нора поднялись наверх и, не заходя с балкончика в дом Ламары, месившей тесто на грабовой доске у распахнутого окна, стали рассказывать той, что говорят люди о её чуде-сыне. Все жители Хлебной площади и уже полрынка обсуждают странного малого, таскавшегося по ночам к Верийскому кладбищу. Мальчик, хоть и подросток, но не настолько, чтобы самостоятельно решать взрослые дела. *Такие* взрослые дела. Уже то, что товарки в переполненное негой утро обещавшего быть жарким дня не поленились взобраться на третий и не стали привычно перекликаться со двора, насторожило Ламару. А слова «Верийское кладбище» и вовсе повергли в замешательство: что её мальчику делать на погосте с мертвыми? Да ещё ночью?

- Там власти хотят разбить сад...
- На костях-то? Вай-вуй...
- Им виднее. Уже бульдозеры гудят вокруг третьего дня...
- Говорят, кости из земли повылазили.

— Мне рассказывала свекровь моей свекрови, дай ей Бог здоровья, что там захоронены юнкера.

— И теперь в том, кто уносит в мешке кости с кладбища, люди признали твоего сына, Ламара.

— Мы хотим предупредить тебя, соседка: страшное время не кончилось, оно лишь чуть-чуть отошло.

Кривая и толстуха только спускались по чугунной лестнице со звонкими ступенями, гордясь выполненным долгом и жалея дурачка Ламары, а хозяйка уже металась по дому, забросив стряпню. Дурачок пока не вернулся с базара. А может быть, снова застрял в церкви Святого Георгия. Он только отговаривается каждый день разными причинами от своих задержек. И девочки не пришли с реки. Они ходят полоскать белье на стремнине. Мать металась по комнатам, не в силах унять страх, гнев, ярость. И вдруг что-то будто пихнуло её в спину, она запнулась на ходу, оглянулась через плечо. Возле тошей подушки на топчане сына лежала *та* книга. Когда кривая Мака и толстуха Нора ступили на последнюю ступень лестницы, дело было сделано: книга полетела в уборную, а сверху на нее полились помои из ржавого ведра.

Васико чуть не вприпрыжку бежал с базара с корзиной лука и томатов, он торопил наступление *своего времени* и еще не знал, что подступающая ночь уведет его из дома на два года, во взрослую жизнь.

А теперь они сидели напротив друг друга: с одной стороны — осадок обиды, с другой — недоверие. За стенкой деланно гремели посудой сёстры. Джемма и Ия прислушивались к звукам материнской комнаты, ждали примирения. Уже были выплаканы слезы разлуки. Уже счастье обретения сына уступило место упрекам, а радость возвращения — предубеждению. Им предстояло жить дальше, бок о бок. Мать любила ребенка любовью земной женщины. А сын требовал от матери больше его самого полюбить в нем другого, Того Другого.

4

Разве свахи станут заглядывать на тот двор, где из ямы в глиняной келье раздаются заунывные песнопения? Сестры Ия и Джемма, стараясь не терять лица перед гостями, спрашивают: «Брат, кого зовешь?!» Из ямы доносится: «Я пою псалмы, женщины». И тут же *певец*, вылезая из своей домовины, напяливает болониевый затрапезного вида плащик, надевает шляпу с отвислыми полями и гордо, как будто речь о симпозиуме, объявляет: «Я — на свалку». Сваха озирается на келью с ямой, оглядывает уходящего дервиша и подозрительно быстро ретируется, забыв о цели визита. Дочери бегут жаловаться матери на

очередную выходку Васико. А тот на подоспевшие упреки оправдывается: Ия уйдет в монастырь, а Джемму жених украдет — зачем ей сваха? Сестры кричали: шут! Мать только руками всплескивала и перебирала всю родню по собственной и мужниной веткам в поисках родовой прелести.

Ламара нарочно съехала дальше от центра, купила щитовой домик, конечно, тоже окруженный домами-соседями, но зато с собственным двором, укрытым от чужих глаз роскошеством сада из двух орешников и одного инжира. Здесь их семью еще не знают; сюда не дотянулся след детских странностей ее горемычного ребенка. Здесь юного псаломщика из церкви Святого Николаза принимают за добропорядочного служителя.

Помимо глиняной кельи и помимо истории со свалкой, к материнскому огорчению, случилась еще история с курятником, вышедшая-таки за пределы двора. Оглашенного псаломщика уже готовили к сану дьякона и и новому имени — отец Лука. И вот однажды её Васико, то есть отец Лука — Ламара каждый раз сбивалась, называя сына, — вдруг перебрался на житьё в недостроенный курятник. И ноябрьские ветреные ночи коротал в нем, укрепляясь молитвой. Мать качала головой, глядя на щели между досками. Мать без дозволения подкладывала внутрь одеяла и теплые вещи. Но вещи летели вверх тормашками, едва Лука переступал порог своего дома-курятника. Да там и порога-то не было. И, рассердившись, он кричал матери: «Женщина, ты забыла, что Христос родился в яслях, спал в хлеву?» Зато как трогателен он был, весь обмакнутый в перья и свежий помёт, неся в ладонях теплое яичко. Он отдавал Ламаре яйцо и светился бесхитростным восторгом от вида нерукотворного творения.

Но оказалось даже такое куцее счастье запрещено. Церковь закрыла свои пределы перед странным дьяконом, иногда останавливающим службы неистовыми упреками. А зачем они ловчат, зачем сокращают, зачем отходят от канона? Куда спешат? Время — это большая милость, оно дано во спасение.

А как причту можно было медлить, если милиция следила за священством, службами, учиняя внезапные рейды, срывая молебны. Дзаглеби-собаки запирали храмы. Храмы снова отворялись. Пусть тайком, но звучали песнопения, как у мальчишки в игрушечных башнях, где тряпичная кукла склонялась в поклоне, где спички среди камней вспыхивали лампадками у каменного аналоя.

Однажды блюстители застали верующих в церковном подвале прямо во время литургии. Дзаглеби стали выгонять из подвала причт. А дьячок Лука лег на земляной пол, раскинул руки крестом, не позволял их сложить, не подчиняясь, кричал: «Каждый из нас есть образ Божий... Христа распяли за вас!» Ко-

гда все же с ним справились, вышвырнули снизу наверх, он стал говорить, ласково заглядывая в лица рядовых: «Ну, вы ведь не виноваты, что не видите Бога. Мы видим». Иные конфузились, иные просто били дурачка в ухо.

И всё же церковь закрыла свои пределы перед его взыскательностью. Лишенный причастия и основных таинств изгнанник принялся строить собственный храм — прямо у Ламары под окнами. Теперь с городской свалки на двор ежедневно прибывал всякий хлам, и спустя время над крышей курятника, да и над самим домом семьи, вознеслась семибашенная церквушка. Ее трижды рушили важные уполномоченные лица. Они рушили. Он возводил. Шла жизнь его и тех — решающих. Счастливей предыдущих оказалась третья церквушка — одноглавая. Пришедшим ее разрушать Лука сказал: «Вы — солнце называющие углем, а уголь — солнцем, знайте: приказывающий грешен больше исполняющего». В тот раз уполномоченные были какие-то не убежденные в своих постановлениях — убрались восвояси ни с чем. Но тут же прислали с новым распоряжением рабочих. Вновь отец Лука обратился к разорителям: «Если можете разрушить, разрушьте». И вторые ушли вслед за первыми. А во дворе у Ламары так и осталась стоять церква-одноглавка. И продолжали в нее прибывать «черные доски» со свалки, под усердной рукой казавшие лики.

5

Конечно, ту выходку монах замыслил давно, еще три весны назад. Расстрельную выходку: свой малый подвиг во имя веры. Он испортит им майскую демонстрацию. Он не даст прославлять убийцу. Он укажет слепцам имя Достойного Славы.

Самым забавным стало то, как они сами топтали лицо своего вождя. Они затаптывали пламя, но огонь хорошо взялся. Огонь изъедал исполинскую голову двенадцатиметрового плаката быстрее растерявшихся людей, нелепыми потугами пытавшихся погасить всполохи. А он лежал на мостовой и между махами ног, бивших ему в пах, поддых, в затылок видел сбившиеся ряды демонстрантов и пожирающее их гегемона пламя. «Своими руками памятники ему снесете...» — кричал. Но разве кто его слышал?

Сидеть на откидной лавке в камере было больно. Хотелось лечь в келью, хотелось аскезы и обета молчания. Разум и боль говорили, что тело переломлено в нескольких местах. Но душа радуется, радуется. Ведь он сумел сказать им, что вместо портрета партайгеноссе всюду должны висеть Распятия. Сумел сказать: слава не нужна человеку. Вот только иконы отобрали, сорвали со шнурка болнисский крест, да и

шнурок унесли. Подходил час вечерней молитвы. Узник, преодолевая боль, поднял брошенный в углу веник, оторвал нить, подбивавшую подол облачения, сделал из прутьев крестик. Поставил к стене напротив и встал на молитву. Дежурный отобрал крест, вышвырнул веник из камеры. А острожник в спину ему: «Гляди, служивый, я сам — крест» — и встал к стене, раскинув руки. «Да ты, мцири, чокнутый? Так и оформим».

Сначала свезли в психбольницу, там санитары — народ искушенный — ничему не удивлялись. А только и у них не задержался. И потянулись дни и ночи в подвалах Комитета.

Не лечили: пусть раны сами затянутся, пусть кости сами срастутся либо пусть содохнет. Сокамерники, проникшись вмененной расстрельной статьей, всё давали первоходу советы по выживанию, всё готовили к главному допросу у полковника. Упреждали, сколько мариновать будут: сначала назначат дату допроса, но в тот день не вызовут. И на второй не вызовут. И на третий. День на шестой поднимут из подвала на этаж. Продержат в коридоре часов шесть, лицом к стене. Потом толкнут в кабинет. А кабинет пустой. И будешь ждать с конвойным в дверях еще с час, пока заспанный полковник не объявится из комнаты по соседству. Эта пытка ожиданием рушит психику, ломает настрой.

Но с Лукою все пошло не так.

Едва в назначенный вторник его подняли снизу на верхний этаж и повели по коридору, как навстречу уже бежал ординарец. Без промедления арестованного доставили к полковнику. На лице хозяина кабинета никаких следов сна, напротив, даже — следы его отсутствия и неподдельного интереса. Конвойный с ординарцем выдворены за дверь. И вкрадчивым голосом полковник интересуется:

— Вы... кем Христу приходитесь?

— Я — пыль. Как и ты, служивый.

Полковник последнее пропускает мимо ушей, будто недослышав.

— Кто ты?

— Я — сор. Я — ничтожество. Я — червяк.

— Зачем же так...

— Христос один. Второго не будет...

Полковник выглядит потеряннным. И дальше следует рассказ о совершенно для полковника невероятном. Перед самой доставкой арестованного на допрос в кабинет вошла женщина. У нее не было в руках пропуска, и весь ее вид в целом не давал оснований задать вопрос: «Как Вы сюда попали?» Именно такой вопрос прилип с семечком к губам хозяина кабинета, но он его так и не сплюнул, задав. Женщина в старинных одеждах присела на краешек стула для допрашиваемых. Помолчали. Сколько по времени? А времени будто и не было. А после Она встала и по-

шла. Но не к двери, а в противоположную сторону. И удалилась то ли через окно, то ли через простенок. Полковник не в силах был обернуться, потому что кроме слов, навязчиво стучавших в виски, как мерное постукивание поездных колес, кроме слов: «отпусти Павле, ради Христа, отпусти Павле, отпусти Павле», служивый вдруг одним мгновением увидел себя маленьким и всё свое детство. Маму — проводника поездов дальнего следования — вот он, стук-то вагонный. Отца — тихого проворовавшегося бухгалтера. И деда, сельского пономаря, узрел вдруг на колокольне раскачивающим благовестник в елейном перезвоне. «Прокляну, безбожник, прокляну», — грозил давно почивший дед внуку.

— Кто это сейчас сказал? — вскочил полковник со стула, будто впервые увидавши монаха, примостившегося на том же стуле, где прежде сидела женщина.

— По-моему, это старик звонарь сказал: прокляну.

— А отпусти Павле?

— А то и помыслить не могу... Дева?!

— Да, кто этот Павле?

— Павле — это мое имя при рождении. Но я его только лет до пяти носил, до тихого часа.

— Имена менять запрещается.

— А то не по своей воле. Павле — маленький человек. Васико — милость Божья. Лука — свет несущий. А ты спасешься, мил человек. Тебе Дева явилась.

— Если прежде с ума не сойду!

— Ты уходи отсюда. Отмолишь черные дела подвалов тех.

— Замолчи... Конвойный! В камеру его. Ординарца ко мне.

Расстрельную статью не дали. Через неделю управились с формальностями и свезли в «психушку» на Асатиани. А там уже признали невменяемым. Только и в лечебнице не оставили в покое. Приходил разный медперсонал. Дивились на поджигателя. Спорили. Диагностировали. Сомневались. Тщедушный морщился от каждого посещения, верчения его в разные стороны на замызганном белье визгливо скрипучей койки. Страдал от необходимости отвечать. Но он жалел их всех, потому разговаривал, отвлекался от *своего времени*. Переломы медленно заживали, раны затягивались.

А однажды ночью — почти перед рассветом, в тихом часу, должно быть, в четвертом — растолкали, привели в кабинет, перед входом в который стояли трое солдат и трое штатских. Местный медперсонал не допустили. Психа посадили на стул перед шкафом с открытой дверцей, а на дверце висела белая атласная занавеска. Кто-то, кого спецконвой шёпотом называл *мама*, слегка отодвинув белый атлас,

рассматривал сидящего, оставаясь укрытым дверцей со шторкой. Смотревшему в пол, на сор и пыль, видны были только края шевиотовых брючин и идеально чистые для весенней распутицы лаковые туфли. Затылок монаха чесался, будто кто из стоявших за спиной издал буравил в макушке дырочки коловоротом. Казалось, сейчас будет задан вопрос «*что есть истина*», но не случилось. Поджигатель вдруг поднял глаза на шторку, вскричал упреждающе: «Кровь, кровь на проспекте Руставели. Тыпустишь кровь». И сзади немедля кто-то крепкий и скорый на действие выбил из-под сидельца стул.

Свет померк. Дверца шкафа захлопнулась. Стекло от удара треснуло. Обмякшее тело уволокли по полу мимо лаковых туфель.

Полковник из Комитета с монахом свиделся еще раз. Мимолетное узнавание в одной каменоломне высокогорного монастыря. Полковник, как и другие трудники, руку хотел поцеловать *старцу* — не решился. Монах его издала перекрестил.

Но с тем — с *мамой* — монах больше не встречался. Когда через несколько лет метался, будто беглый из психушки, по ночной Руставели между цепей солдат и толпою отчаявшихся, сидевших на брусчатке — сидячих не бьют, — то *мамы* на площади не сыскал. Тот руководил бойней из бункера. А блаженный возле ступеней Большого Дома стоял на коленях перед солдатами и умолял, и плакал, и молился о них — безрассудных, что принимали его за умалишенного. Он любил и тех, и других: и занесшего руку с саперной лопаткой, и защищавшегося с булыжником в руке. Когда монах произносил свои упреждающие слова, его слушали. Молчали. Потом вместе всем собранием пропели «Отче наш», растягивая звук от одного угла площади до другого. Он надеялся на свой просчет, свою ошибку, уповал на Высшую Милость, ждал, что стояние кончится миром. Но он не ошибся. Кто-то все же отдал приказ. В четвертом часу утра — в самый тихий час суток — начался штурм. Монах не ошибся: кровь на площади пролилась.

6

Балаган достался соседям.

Он чудил, вел себя как сумасшедший. Но это было не так. Но кто знал, что это было не так? Он их не разубеждал.

Ламара столько раз просила: прекрати дурить. А он все улыбался, смотрел с нежностью и только раз попытался ей объяснить: кто забывает себя — тот обретает; сказано «отвергнись себя» — когда выхожу на улицу босым, нелепым, нищим, прохожие осмеивают меня, и тогда понимаю, как действительно я ничтожен.

Но она, кажется, снова не поняла и только стыдилась взрослого сына. А еще злилась на него за свой стыд, позор и смущение.

А он не мог, просто не имел права пугать их — своих женщин. Знали бы, как сам струхнул, заметив неладное за собою. Так и подумал сперва — неладное. Но избегать чудесного — то же, что бегать от Спасителя, ведь отвращающийся от чудесного то же, что болезный, погибающий. А после стал свыкаться со своим странным состоянием, новыми особенностями, способностью видеть, слышать, осязать чужое. И догадался: вокруг незрячие, безokie, глухие, дремучие. Они не видят, не слышат по-настоящему, так, как надо видеть и слышать, так, как теперь дано видеть и слышать ему: вместе с людскими помыслами, предубеждениями, сомнениями, страхами, завистью, ненавистью и проклятиями во взглядах. Он не понимал: неужели им так трудно смотреть на солнце? Он мог смотреть на солнце, не шурясь, не зажмурив глаз.

Но он никогда не решился бы открыть матери, сестрам и даже Отцам Церкви то, что открылось ему и что сделало его *таким*. Он опасался за них — еще тронутся умом. Пусть лучше тронутым считают его. Когда пытался в своей келье чуть приподняться над полом, у самого дух захватывало только от возможности такой попытки. А расслышав голос приближающейся Ламары, так рыкнул из-за глиняных стен, что и мать напугал до слез, и сам поразился мощи собственного испуга: увидят! Потому и перебрался в горный монастырь, в уединение. Да и там прятался с глаз. А перед случайно разглядевшим, мимолетно уловившим его просветленность тут же начинал юродствовать, уничижаться. Ну, что еще людям от него надо — коровьи колокольчики нацепить или вериги навесить?

Однажды, когда он шел из монастыря в город навестить домашних, на пустой дороге двое напали на него. Сорвали крест и мошевик. Бросились наутек. Он грабителям не сопротивлялся. Сам испугался сперва. Но, опомнившись, призвав *ту* свою силу, крикнул вдогонку: «Вернитесь!» Вернулись. «Подойдите». Подошли. «Отдайте мошевик». Отдали. А крест он не взял. «Крест оставьте себе. Пусть он сам вас накажет».

И через неделю отпевал одного из тех разбойников — в сущности, молодого еще парня, но бывшего позором семьи, горем матери, страхом деревни. Отпевал и плакал. Потому что крест и его самого наказал: вроде смерть предрек человеку и теперь зван читать ему поминальную молитву.

А второй грабитель сам в монастырь пришел. Ночью, под утро, в час тихий, когда все звуки умолкли... Нашел Луку. Тот вывел ночного гостя за ограду. Поставил на колени в траву. Голову преклоненную

накрыл иконой. Виден был над ними в линияющем кобальте неба купол храма и часть креста наглавно-го. Возмолился монах: «Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова...»

Утром отпустил того, второго: жить наново. А сам, недоспав, поспешил к послушницам на заутреню.

В полдень собрался народ.

— Глядите. Гроб понесли!

— Кого хоронят?

— Слава Господу, нету в монастыре покойника. Пустой!

— Чего они его туда-сюда таскают?

— То отец Лука к смертной памяти матушек причаает. Гроб перед ним проносят.

— Да что же это... Он умалишенный?

— Не демон ли он в мантии?

— Да он просто пьяный. Видите, кувшин под панамой прячет.

— Безобразие! Приходишь в праздник... И как в такое святое место допускают грешника? Где же теперь святости почерпнуть? Выходит, праведный мирянин, соблюдающий себя в разврате города, чище пьянчужки монастырского?

— Эй, Маглава, а ну, подойди!

Примостившийся на ступенях хмельной монах с панамой вскинул взгляд на горожанку:

— Я?

— Но ведь тебя нарекли Маглавой? Ты единственная у родителей — позднее дитя. Скольким они лишали себя, думая, что отдают тебе лучшее. А ведь ты не приехала хоронить мать, так? И отца сдала на чужие руки в имеретинское село. Он уже перестал просить Бога, чтобы ты вернула его домой. Тебе ведь там всё некогда, в городе?

Женщина бросилась прочь, громко осыпая старикашку проклятиями. Монах заплакал, горько заплакал, как по покойнику. Толпа продолжала стоять, вождельно ожидая балагана. Монашки с гробом в руках тоже остановились. И верно, балаган не заставил себя ждать. К плачущему со смехом подскочила молоденькая девушка и, усевшись к нему на колени, напялила панаму на голову сидящему монаху, расплескав вино из его кувшина.

— Не плачь, святой отец. Ева сможет утешить тебя.

Монах оцепенел. Он был похож на древнюю статую, которую сняли с пьедестала и просто забыли на ступенях лестницы. Даже складки рясы казались застывшими, вылепленными из глины, выточенными из мрамора. Послушницы в изумлении уронили крышку гроба.

— Ева не праведница, Ева грешна... Ну, скажи и мне о моих грехах или давай выпьем вместе.

— Еще не пришло нам время, Тина, но мы выпьем с тобой в пасхальную седмицу.

Молодка вскочила. Смутилась. Прошептала: прости. И вторая женщина ушла из храма, но уже под громкий смех монаха, который просто покатылся на ступеньках ей вслед.

— А вы что стоите?! Тащите крышку на выброс. Или вы хотите, чтобы я усоп в расколотовой домовине?

Уже вечером, когда монастырь закрыл свои ворота от мирян, возле трапезной отец Лука отвечал послушницам на их недоумение:

— Вы плакали над взрослой женщиной и смеялись над молодой?

— Милые мои овечки, как не плакать мне о душе той горожанки. Ведь она больше никогда не придет к храму. Она и детей своих не водила к причастию. Они жили под ее властью, пока не сбежали из дому один за другим. А теперь она злится на мир божий, но никогда на себя. Придет время, пустоты дома станут пожирать ее. А дети вновь откажутся жить под одной крышей. И тогда она в отместку им вырубит свой сад. Сама, под корень каждую грушу, каждый инжир, каждый орех. Будет приговаривать: пусть не достанется никому. Будет ненавидеть детский смех по соседству. Но она так и не заберет отца от чужих людей. И никогда не усомнится в своей правоте. Как мне не плакать о ней?

— А почему той, другой, вы позволили так?.. Говорят, она падшая женщина.

— Тина придет к Богу. Скоро придет. Она поступится в монастырские ворота на рассвете в Страстную пятницу. Мы так и назовем ее — Пятница, Параскева. Ее душа уже и отчаянье потеряла. Тина очень любит свою мать, слабую женщину. Та не смогла защитить себя и маленькую Тину от насилия отца, своего мужа. Глупый, невежественный человек, давно в земле. Тина и мучителя простила, и матери простила ее наивную любовь. Только самой себе — нечистой — мстит, еще больше пачкается грязью, чтоб уж не отмыть. Ах, какой доброй послушницей она будет! И повеселимся же мы... Давайте порадуемся, скоро с нами рядом встанет на молитву еще одна живая душа.

7

Послушницы сбились с ног. Монастырь Самтавро полон чужаков — мирян. Отец Лука сегодня сам гасил свечи в напольных храмовых подсвечниках. Ему не спалось, третий день мучила ангина. Поначалу в горле першило, будто гортань царапал шершавый лист малины. А теперь уже ощутимо больно сглатывалась слюна, осип голос. Но что-то беспокоило помимо боли в горле. Нет-нет да слышался невнятный

лязг железа: так рыцари бьются на мечах. Он прислушивался к себе, но звук не повторялся. А после неожиданно возникал снова.

Лука присыпал чадающие огарки песком и еле слышно, с хрипотцой напевал «Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную...». Две мизерные лампы освещали лишь лики Спасителя и Его Матери, оставляя весь храм Михаила Архангела во тьме, во сне. Язычки пламени слабо дрожали, почти угасая и снова вспыхивая на сквозняке, живой светотенью, будто бы перелистывая страницы книги у Спасителя в левой руке. Монах чуть не вслух удивился чуду, но боялся разбудить спящих на полу. А у него самого нету сна который день.

В бессоннице память разворачивала картинки тех времён, когда он — мальчишка-беглец — нашел приют у здешних, самтаврских монахов, когда силился осознать, как поднялась рука матери на священную книгу. Лучше бы тогда она отлупила его веником или выставила за порог до утра — это не так невозвратно поразило бы его сердце. А теперь он снова в тех стенах, но уже духовником монастыря, где на него возложен высокий крест служения. Теперь за его плечами груз скорби, ведь к нему приходили бывшие соседи по Сололаки с просьбой отпеть их родственников — первым дядю Муху, после кривую Маку, толстуху Нору, а потом и других — почти родных — из его детства.

В ночи монастырь затих, переполненный дневными хлопотами, отзвуками молебнов, пересудами, суетой, как бывает всегда с приходом мирян, нарушающих стройный монашеский уклад. Восток воюет с Западом, Запад — с Востоком. Братоубийственная бойня началась еще месяц назад, и развязка не близились. Кто-то порушил миропорядок, кто-то разжег в людях дремавшую алчность, гордыню, глупую воинственность. Кто-то стронул покой. Потекли потоки беженцев с обеих сторон, и в воздухе носилась неявная угроза, которая казалась неотвратимой. Чаще всего теперь мирянами, искавшими в монастыре временное прибежище, вслух произносились слова «переворот», «банда», «перестрелка». Вот и те, что спят нынче на полу церкви Михаила Архангела — отец и три сына-погодка — собрались воевать. Они ехали из родного Хоби куда-то восточнее, скрывая конечную точку своего пути. Он задержал их в монастыре на два дня. Просил только два дня провести с ним, помочь с обустройством беженцев — детей и женщин. Путники остались и уже шестой день строили уличные навесы, потому что гостевой дом был забит до отказа.

Утром надо будет спросить у Параскевы-Пятницы горного мёду, его соты исцеляют при болезни горла. Едва вспомнилось её имя, как дверь храма с хлопком